ХАРУКИ МУРАКАМИ

К югу от границы, на запад от солнца

МОСКВА
2018

ХАРУКИ МУРАКАМИ

К югу от границы, на запад от солнца

МОСКВА
2022

УДК 821.521-31
ББК 84(5Япо)-44
М91

Haruki Murakami
KOKKYO NO MINAMI, TAIYO NO NISHI
Copyright © Haruki Murakami, 1992

Перевод с японского *Ивана* и *Сергея Логачевых*

В оформлении обложки использована иллюстрация
Noma Bar / Dutch Uncle

Мураками, Харуки.

М91 К югу от границы, на запад от солнца / Харуки Мураками ; [пер. с яп. Ивана и Сергея Логачевых]. — Москва : Эксмо, 2022. — 208 с.

ISBN 978-5-04-094484-2

«К югу от границы, на запад от солнца» — самый пронзительный роман классика современной японской литературы Харуки Мураками. Через двадцать пять лет в жизнь преуспевающего владельца джазового бара возвращается мистическая возлюбленная его детства — и почти забытая страсть вспыхивает вновь. Но призрак смерти неотступно следит за ним... «Касабланка» по-японски. Роман об экзистенциальной любви, которой не суждено сбыться.

УДК 821.521-31
ББК 84(5Япо)-44

© Логачев И., Логачев С., перевод на русский язык, 2022
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

ISBN 978-5-04-094484-2

1

Я родился 4 января 1951 года. В первую неделю первого месяца первого года второй половины двадцатого века. Было в этом что-то знаменательное, поэтому родители назвали меня Хадзимэ[1]. Кроме этого, о моем появлении на свет ничего особенного не скажешь. Отец работал в крупной брокерской фирме, мать — обычная домохозяйка. Студентом отца взяли на фронт и отправили в Сингапур. Там после окончания войны он застрял в лагере для военнопленных. Дом, где жила мать, сгорел дотла в последний военный год при налете «Б-29». Их поколению от войны досталось по всей программе.

Впрочем, я появился на свет, когда о войне уже почти ничего не напоминало. Там, где мы жили, не было ни выгоревших руин, ни оккупационных войск. Фирма дала отцу жилье в маленьком мирном городке — дом довоенной постройки, слегка обветшалый, зато просторный. В саду росла большая сосна, был даже маленький пруд и декоративные фонари.

Самый типичный пригород, место обитания среднего класса. Все мои одноклассники, с которыми я дружил, жили в довольно симпатичных особнячках, отличавшихся от нашего дома только размерами. У всех —

[1] В переводе с японского — «начало». — *Здесь и далее примечания переводчика.*

парадный ход с прихожей и садик с деревьями. Отцы моих приятелей по большей части служили в разных компаниях или были людьми свободных профессий. Семьи, в которых матери работали, попадались очень редко. Почти все держали собаку или кошку. Знакомых из многоквартирных домов или кондоминиумов у меня не было. Потом я переехал в соседний городок, но и там, в общем, наблюдалась та же самая картина. Так что до поступления в университет и переезда в Токио я пребывал в уверенности, что люди нацепляют галстуки и отправляются на работу, возвращаются в свои особнячки с неизменным садиком и кормят какую-нибудь живность. Представить, что кто-то живет иначе, было невозможно.

В большинстве семей воспитывали по двое-трое детей — это средний показатель для мирка, где я вырос. Мои друзья детства — все без исключения, кого ни возьми — были из таких, словно по трафарету вырезанных, семей. Не два ребенка — значит, три, не три — так два. Изредка попадались семейства с шестью, а то и семью наследниками и уж совсем в диковину были граждане, которые ограничивались единственным отпрыском.

Наша семья как раз была такой. Единственный ребенок — ни братьев, ни сестер. Из-за этого в детстве я долго чувствовал себя неполноценным. Каким-то особенным, лишенным того, что другие принимали как должное.

Как же я тогда ненавидел эти слова — «единственный ребенок». Каждый раз они звучали как напоминание, что во мне чего-то не хватает. В меня будто тыкали пальцем: «Ну ты, недоделанный!»

В окружавшем меня мире все были убеждены на сто процентов: таких детей родители балуют, и из них выра-

стают хилые нытики. Прописная истина: «чем выше поднимаешься в гору, тем больше падает давление» или «корова дает молоко». Поэтому я терпеть не мог, если кто-то спрашивал, сколько у меня братьев и сестер. Стоило людям услышать, что я один, как у них срабатывал рефлекс: «Ага! Единственный ребенок! Значит, испорченный, хилый и капризный». От такой шаблонной реакции становилось тошно и больно. На самом же деле, подавляло и ранило меня в детстве другое: эти люди говорили истинную правду. Я ведь действительно был избалованным хлюпиком.

В моей школе таких «единственных детей» было совсем мало. За шесть начальных классов мне встретился только один экземпляр. Я очень хорошо помню ее (да, это была девочка). Мы подружились, болтали обо всем на свете и прекрасно понимали друг друга. Можно даже сказать, я к ней привязался.

Звали ее Симамото. Сразу после рождения она переболела полиомиелитом и чуть-чуть приволакивала левую ногу. Вдобавок Симамото перевелась к нам из другой школы — пришла уже в самом конце пятого класса. Можно сказать, на нее легла тяжелая психологическая нагрузка, с которой мои проблемы и сравниться не могли. Но непомерная тяжесть, давившая на маленькую девчонку, лишь делала ее сильнее — гораздо сильнее меня. Она никогда не ныла, никому не жаловалась. Лицо ничем не выдавало ее — Симамото всегда улыбалась, даже когда ей было плохо. И чем тяжелее, тем шире улыбка. У нее была необыкновенная улыбка. Она утешала, успокаивала, воодушевляла меня, будто говоря: «Все будет хорошо. Потерпи немножко — все пройдет». Спустя годы, я вспоминаю ее лицо, и в памяти всякий раз всплывает эта улыбка.

Училась Симамото хорошо, относилась ко всем справедливо и по-доброму, и в классе ее признали. Я же был совсем другим. Впрочем, и ее одноклассники вряд ли так уж любили. Просто не дразнили и не смеялись над ней. И, кроме меня, настоящих друзей у нее не было.

Может, она казалась другим ученикам чересчур спокойной и сдержанной. Кто-то, верно, считал Симамото воображалой и задавакой. Но мне удалось разглядеть за этой внешностью нечто теплое и хрупкое, легкоранимое. Оно, как в прятках, скрывалось в этой девочке и надеялось, что со временем кто-то обратит на него внимание. Я вдруг сразу уловил такой намек в ее словах, в ее лице.

Из-за работы отца семья Симамото переезжала с места на место, и ей часто приходилось менять школу. Кем был ее отец — точно не помню. Как-то раз она подробно рассказывала о нем, но мне, как и большинству сверстников, мало было дела до того, чем занимается чей-то отец. Какая же у него была профессия? Что-то, связанное то ли с банками, то ли с налоговой инспекцией, то ли с реструктуризацией каких-то компаний. Дом, где поселились Симамото, — довольно большой особняк в европейском стиле, обнесенный замечательной каменной оградой в пояс высотой, — принадлежал фирме, где работал отец. Вдоль ограды шла живая изгородь из вечнозеленых кустарников, сквозь просветы виднелся сад с зеленой лужайкой.

Симамото была высокой — почти с меня ростом. Четкие выразительные черты лица. С такой внешностью она через несколько лет обещала стать настоящей красавицей. Но когда я впервые увидел эту девчонку, она еще не обрела того облика, что соответствовал бы ее характеру. Нескладная, угловатая, она мало кому казалась при-

влекательной. Потому, наверное, что в ней плохо уживались взрослые черты и оставшаяся детскость. Временами от такой дисгармонии делалось как-то неуютно.

Наши дома стояли совсем рядом (буквально в двух шагах), поэтому, когда Симамото пришла в наш класс, ее на месяц посадили рядом со мной. Я принялся объяснять новенькой особенности школьной жизни: какие нужны пособия, что за контрольные мы пишем каждую неделю, что надо приносить на уроки, как проходим учебники, убираем класс, дежурим по столовой. В нашей школе было заведено: новеньких на первых порах опекали те ученики, кто жил к ним ближе всех. А поскольку Симамото еще и хромала, учитель специально вызвал меня и попросил первое время о ней позаботиться.

Поначалу нам никак не удавалось разговориться — так обычно бывает у одиннадцати-двенадцатилетних мальчишек и девчонок, которые стесняются друг друга. Но когда выяснилось, что мы с ней единственные дети в семье, все пошло как по маслу — нам стало легко и просто, и мы начали болтать без умолку. Прежде ни ей, ни мне не доводилось встречаться с ребятами, у которых не было братьев или сестер. Мы разговаривали до хрипоты — ведь так много хотелось сказать. Из школы часто возвращались вместе. Идти нам было чуть больше километра, мы шли медленно (из-за хромой ноги Симамото не могла ходить быстро) и разговаривали, разговаривали... Скоро мы поняли, что у нас много общего: оба любили читать, слушать музыку и нам обоим нравились кошки. Мы не умели раскрывать душу людям. Не могли есть все подряд — у нас был длинный список того, что мы терпеть не могли. Интересные предметы давались нам без труда, нелюбимые мы ненавидели лютой ненавистью. Хотя были между нами и отличия: Симамото со-

знательно старалась заслониться, защитить себя. Не то, что я. Она училась серьезно, хорошо успевала даже по самым противным предметам, чего не скажешь обо мне. Иными словами, защитная стена, которой она себя окружила, оказалась куда выше и прочнее моей. Но то, что скрывалось за этой стеной, мне поразительно напоминало меня самого.

Я быстро привык к Симамото. Раньше со мной такого не бывало. Меня не бил никакой мандраж — не то что с другими девчонками. Мне нравилось возвращаться с ней домой из школы. Она шла, слегка приволакивая ногу. Иногда присаживалась в парке на скамейку и немного отдыхала. Мне это было совсем не в тягость — скорее наоборот, я радовался, что есть время пообщаться еще.

Все больше времени мы проводили вместе. Не припоминаю, чтобы кто-то нас из-за этого дразнил. Тогда я не очень удивлялся, но сейчас это выглядит странновато. Ведь в таком возрасте стоит детям заметить, что какой-то мальчишка дружит с девочкой, они тут же начинают издеваться. Мне кажется, дело было в характере Симамото. В ее присутствии ребята испытывали легкое напряжение и не хотели выставлять себя дураками. Как бы поневоле думали: «Лучше при ней чепуху не молоть». Иногда, казалось, даже учителя не знали, как себя вести с Симамото. Может, из-за ее хромоты? Так или иначе, все, похоже, осознавали, что дразнить ее не годится, и мне это было приятно.

На уроки физкультуры Симамото не ходила и оставалась дома, когда мы всем классом отправлялись на экскурсии, в поход в горы или летний лагерь, где все занимались плаванием. Во время школьных соревнований ей, наверное, бывало не по себе, но во всем остальном

у нее была самая обыкновенная школьная жизнь. О ноге она совсем не вспоминала — разговоров об этом, насколько я помню, не было ни разу. Никогда по дороге из школы она не извинялась, что идет медленно и задерживает меня, да и на лице ее неловкости я не замечал. Но я прекрасно понимал: она все время думает о своей ноге и именно потому избегает этой темы. Симамото не очень любила ходить в гости к другим ребятам — там ведь надо снимать обувь, а на ее туфлях разные каблуки — один немного выше другого, да и сами туфли друг от друга отличались, — и она не хотела, чтобы кто-то это видел. Туфли ей, должно быть, делали на заказ. Я обратил на них внимание, когда заметил, что у себя она в первую очередь снимает туфли и старается побыстрее убрать их в шкаф.

В гостиной у Симамото стояла новенькая стереосистема, и я часто заходил к ней послушать музыку. Система была очень приличная, чего не скажешь о пластинках, которые собирал ее отец. Их оказалось штук пятнадцать, не больше — в основном, легкая классическая музыка для неискушенных любителей. Мы слушали их бесчисленное множество раз, и я до сих пор не забыл ни одной ноты.

Пластинками занималась Симамото. Доставала диск из конверта и, держа его обеими руками, не касаясь поверхности, ставила на проигрыватель. Потом, смахнув щеточкой пыль со звукоснимателя, плавно опускала на пластинку иглу. Когда сторона заканчивалась, Симамото прыскала на нее спреем и протирала мягким лоскутком. В завершение пластинка возвращалась в конверт и водружалась на свое место на полке. Симамото научилась этим операциям у отца и выполняла их с ужасно серьезным видом, сощурившись и почти не дыша. Я сидел на

диване и наблюдал за ней. И лишь когда пластинка оказывалась на полке, Симамото поворачивалась ко мне, чуть улыбаясь. Всякий раз мне приходило в голову, что она держит в руках не пластинку, а чью-то хрупкую душу, заключенную в стеклянный сосуд.

У меня дома не было ни проигрывателя, ни пластинок. Родители музыкой не интересовались, поэтому я слушал у себя в комнате радио — маленькую пластмассовую «мыльницу», принимавшую только средние волны. Больше всего мне нравился рок-н-ролл, но я быстро полюбил и классику, которую мы слушали у Симамото. То была музыка из «другого мира», она притягивала меня — возможно, потому, что к этому миру принадлежала моя подружка. Раз или два в неделю после обеда мы заходили к ней, сидели на диване, пили чай, которым угощала нас ее мать, и слушали увертюры Россини, бетховенскую «Пасторальную» симфонию и «Пер Гюнта». Мамаша была рада, что я приходил к ним. Еще бы! Дочка только-только пошла в новую школу, а у нее уже приятель появился. Тихий, всегда аккуратно одет. Сказать по правде, старшая Симамото не сильно мне нравилась. Сам не знаю, почему. Со мной она всегда была приветлива, но иногда в ее голосе звучали нотки раздражения, и временами я чувствовал себя не в своей тарелке.

Среди пластинок отца Симамото у меня была любимая — концерты Листа для фортепиано. По одному концерту на каждой стороне. Любил я ее по двум причинам. Во-первых, у нее был очень красивый конверт. А во-вторых, никто из моих знакомых — за исключением Симамото, разумеется, — фортепианных концертов Листа не слушал. Сама эта мысль волновала меня. Я попал в мир, о котором никто не знает. Мир, похожий на потайной сад, куда вход открыт только мне одному. Слушая Листа,

я чувствовал, как расту над собой, поднимаюсь на новую ступеньку.

Да и музыка была прекрасная. Поначалу она казалась мне вычурной, искусственной, какой-то бессвязной. Но я слушал ее раз за разом, и понемногу мелодия стала складываться в моей голове в законченные образы. Так бывает, когда смутное изображение постепенно обретает перед вашим взором четкие очертания. Сосредоточившись и зажмурив глаза, я мысленным зрением наблюдал бурлящие в этих звуках водовороты. Из только что возникшей водяной воронки появлялась еще одна, из нее тут же — третья. Сейчас я, конечно, понимаю, что эти водовороты были отвлеченной абстракцией. Мне больше всего на свете хотелось рассказать о них Симамото, однако объяснить нормальными словами то, что я тогда ощущал, было невозможно. Для этого требовались какие-то другие, особые слова, но таких я еще не знал. Вдобавок у меня не было уверенности, что мои ощущения стоят того, чтобы о них кому-то рассказывать.

К сожалению, память не сохранила имени музыканта, игравшего Листа. Запомнились только блестящий красочный конверт и вес на руке — пластинка непостижимым образом наливалась тяжестью и казалась необычайно массивной.

Вместе с классикой на полке у Симамото стояли Нат Кинг Коул и Бинг Кросби. Мы ставили их очень часто. На диске Кросби были рождественские песни, но они шли хорошо в любое время года. И как только они нам не надоедали?

Как-то в декабре, накануне Рождества, мы сидели у Симамото в гостиной. Устроились, как обычно, на диване и крутили пластинки. Ее мать ушла куда-то по делам, и мы остались в доме одни. Зимний день выдался

пасмурным и мрачным. Солнечные лучи, с трудом пробиваясь сквозь низкие тяжелые тучи, расчерчивали светлыми полосами пылинки в воздухе. Время шло; все, видимое глазу, потускнело и застыло. Надвигался вечер, и в комнате уже стало совсем темно — прямо как ночью. Свет никто не включал, и по стенам растекалось лишь красноватое свечение керосинового обогревателя. Нат Кинг Коул пел «Вообрази». Английских слов песни мы, конечно, не понимали. Для нас они звучали как заклинание. Но мы полюбили эту песню, слушали ее снова и снова и распевали первые строчки, подражая певцу:

Пуритэн ню'а хапи бэн ню'а бру
Итизн бэри ха'то ду[1]

Теперь-то я, понятное дело, знаю, о чем эта песня. «Когда тебе плохо, вообрази, что ты счастлива. Это не так трудно». Эта песня напоминала мне ту улыбку, что постоянно светилась на лице Симамото. Что ж, правильно в песне поется — можно и так к жизни относиться. Другое дело, что иногда это очень тяжело.

На Симамото был голубой свитер с круглым воротом. Я помню у нее их несколько, одинакового цвета: похоже, голубой ей нравился больше прочих оттенков. А может, голубые свитеры просто шли к темно-синему пальто, в котором она все время ходила в школу. Из-под свитера выглядывал воротничок белой блузки. Клетчатая юбка, белые хлопчатобумажные чулки. Мягкий обтягивающий свитер выдавал едва заметные припухлости на груди. Симамото устроилась на диване, поджав ноги.

[1] Искаженные слова песни классика американской эстрады Ната Кинга Коула (1917—1965) «Вообрази»: «Pretend you're happy when you're blue / It isn't very hard to do».

Облокотившись о спинку дивана, она слушала музыку, глядя куда-то вдаль, словно рассматривала одной ей видимый пейзаж.

— Правда, говорят, что если у родителей только один ребенок, значит, у них отношения не очень? — вдруг спросила она.

Я ненадолго задумался, но так и не сообразил, какая тут может быть связь.

— С чего ты это взяла?

— Один человек сказал. Давно уже. Предки не ладят, поэтому заводят ребенка и потом — всё. Я, когда про это услышала, расстроилась страшно.

— Гм-м.

— А твои между собой как?

Я замялся: просто не думал об этом, — и ответил:

— Вообще-то у мамы со здоровьем не очень хорошо. Точно не знаю, но с еще одним ребенком ей, наверное, было бы слишком тяжело.

— А ты думал, как бы тебе было с братом или сестрой?

— Нет.

— Почему? Почему не думал?

Я взял со стола конверт от пластинки и попробовал рассмотреть, что на нем написано, но в комнате уже стало совсем темно. Положив конверт обратно, потер запястьем глаза. Мать как-то спросила у меня о том же самом. Тогда мой ответ ее ни обрадовал, ни огорчил. Выслушав меня, она ничего не сказала — только сделала какое-то странное лицо. Хотя ответив ей, я был абсолютно честен и искренен перед самим собой.

Ответ получился очень длинный и сбивчивый. Я так и не смог толком выразить, что хотел. А хотелось мне сказать вот что: «Я вырос без братьев и сестер и получился такой, какой есть. А если бы они были, я был бы сей-

час другим. Поэтому что ж думать о том, чего нет?» В общем, вопрос матери показался мне бессмысленным.

То же самое я ответил Симамото. Она слушала, не сводя с меня глаз. А меня что-то притягивало в ее лице — я, конечно, осознал это позже, вспоминая то время. Словно она мягкими, нежными касаниями слой за слоем снимала тончайшую оболочку, в которую заключено сердце человеческое. И сейчас прекрасно помню, как менялось выражение ее лица, слегка кривились губы, как в ее глазах, где-то очень глубоко, загорался слабый, едва различимый огонек, напоминавший пламя крошечной свечки, что мерцает в длинной, погруженной во тьму комнате.

— Я вроде понимаю, о чем ты, — тихо сказала Симамото. Эти слова прозвучали так, будто их вымолвил не ребенок, а вполне взрослый человек.

— Да?

— Угу. Мне кажется, в жизни что-то можно переделать, а что-то нельзя. Вот время. Его не вернешь. Прошло и все, обратного пути не будет. Правда ведь?

Я кивнул.

— Время идет и застывает. Как цемент в ведре. И тогда назад уже не вернешься. То есть ты хочешь сказать, что цемент, из которого ты сделан, уже застыл, поэтому ты можешь быть только таким, какой ты сейчас, а не другим. Так?

— Так, наверное, — неуверенно отозвался я.

Симамото долго разглядывала свои руки и наконец сказала:

— Знаешь, иногда я думаю: а что будет, когда я вырасту, замуж выйду? В каком доме буду жить? Чем стану заниматься? И еще думаю, сколько детей у меня будет.

— Ого! — сказал я.